

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Иванович Куприн

Каприз

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2476395

Аннотация

«Огромный двухсветный актовый зал университета, казалось, утопал в целом море огня, который яркими потоками бросали три газовые люстры, увешанные сверкающими хрустальными призмочками, и десятки четырехлапых бра, горевших в простенках между окнами и дверями. В одном конце зала возвышалась просторная эстрада, красиво замаскированная флагами и густой стеной живых растений... На эстраде блеснул свежим лаком концертный рояль с поднятой вверх крышкой...»

Александр Иванович Куприн Каприз

Огромный двухсветный актовый зал университета, казалось, утопал в целом море огня, который яркими потоками бросали три газовые люстры, увешанные сверкающими хрустальными призмочками, и десятки четырехлапых бра, горевших в простенках между окнами и дверями. В одном конце зала возвышалась просторная эстрада, красиво замаскированная флагами и густой стеной живых растений... На эстраде блестел свежим лаком концертный рояль с поднятой вверх крышкой...

По-видимому, не оставалось более ни одного свободного места, но все новые и новые волны зрителей беспрерывно врывались из входных дверей. Глядя на тех, которые уже сидели, чувствовалось, что взгляд теряется в этом волнуемом море голов, лысин, причесок, черных фраков, мундиров, светлых дамских платьев, медленно движущихся верев, тонких рук в белых длинных перчатках, плавных жестов и кокетливых, праздничных женских улыбок.

На эстраду взобрался и уверенно, почти гордо, подошел к ее краю красивый певец. Он был во фраке с широким вырезом и с красной гарденией в петличке. Следом за ним, тенью,

незаметно, очутился на своем месте аккомпаниатор, у которого длинные, прямые и жидкие волосы падали на оба плеча.

Зал затих.

Несколько особенно франтоватых студентов, которых можно было бы по бантикам на груди признать за распорядителей вечера, нетерпеливо толпились в холодной швейцарской между вешалками, загроможденными верхней одеждой, – они ожидали приезда Генриетты Дюкруа, примадонны парижской Оперы, гастролировавшей в городе весь зимний сезон. Хотя знаменитая певица и приняла с очаровательной любезностью депутацию от молодежи и уверяла, что сочтет за большую честь для себя пропеть на студенческом вечере, однако начиналось уже третье отделение, в котором именно и должна была участвовать дива, а она до сих пор еще не приезжала.

«Неужели надула?» – мелькала тревожная, невысказываемая мысль в умах озябших распорядителей, и они то и дело, один за другим, подбегали к окнам и, прижимаясь лицами к стеклу, напряженно вглядывались в темноту зимней ночи. Дюкруа, назначавшая в дни своих представлений безумные цены на места, была без сомнения, гвоздем вечера, главной приманкой для большинства приехавшей публики...

На улице послышался грохот подъезжающего экипажа, и мимо окон в одно мгновение мелькнули два больших ярких фонаря. Распорядители быстро кинулись к дверям, волнуясь и оттесняя друг друга.

Действительно, это была Дюкруа. Она впорхнула в швейцарскую, улыбаясь студентам и указывая рукой на свое горло, укутанное в тысячные соболя. Этот жест означал, что она охотно объяснила бы уважительную причину своей неаккуратности, но боится говорить в нетопленной комнате.

Так как Дюкруа давно пропустила свой номер и разочарованная публика уже перестала ее ожидать, то внезапное появление ее на эстраде вышло великолепным сюрпризом. Несколько сотен молодых глоток и вдвое большее количество здоровых ладоней устроили ей такую долгую и оглушительную встречу, что даже и она, привыкшая быть повсюду кумиром публики, почувствовала в душе приятное щекотание лесты... Она стояла у края эстрады, слегка наклонившись всем телом вперед и обводя ряды зрителей своими большими, черными, смеющимися глазами. На ней было шелковое глянцевитое платье, корсаж которого держался на плечах при помощи узеньких ленточек. Прекрасные обнаженные руки, низко открытая высокая грудь и длинная, круглая, гордая шея казались выточенными из какого-то теплого, бархатного мрамора.

Несколько раз буря аплодисментов утихала, но едва только Дюкруа подходила к роялю, как новый взрыв восторга заставлял ее возвращаться к краю эстрады. Наконец, она со своей очаровательной улыбкой сделала руками просительный жест, указывая на рояль. Крики постепенно стихли, но весь зал продолжал глядеть на нее влюбленными глазами. И

среди полнейшей, но живой, внимательной тишины она запела один из романсов Сен-Санса.

Алексей Сумилов, студент-медик II курса, стоял, прислонившись к боковой колонне, и слушал с закрытыми глазами пение, нежно и властно раздававшееся с эстрады. Он любил музыку какой-то удивительной, болезненно-страстной любовью, ощущая ее не только ушами, но всем телом, всеми нервами, всей своею душой... И теперь каждый звук чудного голоса проникал в самую глубь его существа и отзывался там такой сладкой дрожью, что Алексею мгновениями казалось, будто эти звуки раздаются в его собственной груди.

Когда восторженный рев толпы подымался после каждого оконченного романса, Алексей испытывал чувство почти физической боли, и глаза его смотрели на кричащую публику с выражением испуга, мольбы и страдания. Но Дюкруа начинала новую арию, и Алексей опять опускал веки, весь отдаваясь, точно теплым морским волнам, чарующей музыке. В это время он страстно желал, чтобы вечно не смолкало это божественное пение и чтобы он сам вечно стоял у своей колонны, жадно наслаждаясь каждой нотой...

Дюкруа должна была бисировать около десяти раз. Ее отпустили только тогда, когда она все с той же очаровательной улыбкой показала рукой на горло и сделала головой и плечами жест отказа и сожаления. Следом за ней на эстраду выскочила какая-то бритая и кудлатая личность в потертом фраке старого фасона и закричала: «Около воздушного шара. Сце-

на из народного быта, Ивана Федоровича Горбунова».

Сумилов глубоко и прерывисто вздохнул, как будто только что очнувшись от долгого сладостного сновидения.

Он сходил с лестницы, запруженной кричащим, суеязящимся народом, и старался не наступать на дамские платья. Кто-то хлопнул его сзади по плечу. Сумилов обернулся и увидел юриста Бибера, своего товарища по гимназии, сына известного миллионера.

Бибер был чем-то радостно взволнован. Он обнял Сумилова за талию и, крепко прижимая его к себе, быстро зашептал ему на ухо:

– Согласилась!.. Сейчас тройки приедут... Я послал...

– Кто согласился? – спросил Сумилов.

– Она... Дюкруа... Мы в «Европейской» ужин заказали. Сначала было ни за что не соглашалась, а потом ничего... смилостивилась. Там все наши будут... Ты поедешь, конечно?

– Я? Нет, не поеду.

Сумилов никогда не принадлежал к компании Бибера, состоявшей из золотой молодежи университета: сыновей крупных помещиков, банкиров и коммерсантов. Бибер сам это отлично понимал, но он находился в том припадке беспорядочного восторга, когда хочется каждому сделать что-нибудь приятное. Поэтому он запротестовал:

– Брось глупости. Ты должен... Почему ты не хочешь?

Сумилов рассмеялся.

– Потому что... Ну, просто... Потому что – ведь ты знаешь мои...

– Ну, ладно, ладно... Подробности письмом, – воскликнул Бибер, увлекая Сумилова. – Едем, едем, едем...

У крыльца стояли тройки. Лошади в темноте фыркали и мотали головами, от чего бубенчики на их шеях весело звенели. Студенты суетливо рассаживались, и в мерзлом воздухе их голоса раздавались резко и возбужденно.

Сумилов сидел рядом с Бибером. Алексей до сих пор находился под впечатлением музыки. Странная иллюзия овладела им в то время, когда тройки неслись вперегонку по пустынным улицам. Свист ветра в ушах, визг подмерзшего снега под полозьями, крики студентов и непрерывный звон бубенчиков сливались для него в какую-то удивительную, переливчатую мелодию... В то же время минутами он не постигал или, вернее, забывал, что с ним делается или куда он едет.

Ужин, на котором сначала все, кроме Дюкруа, стеснялись, под конец принял характер «оргии мальчишек иступленных». Студенты беспрерывно целовали у певицы руки и говорили ей на плохом французском языке самые дерзкие комплименты. Близость красивой, сильно декольтированной женщины опьяняла их всех гораздо больше, чем шампанское; в их глазах светилось нескрываемое желание. Дюкруа отвечала сразу пятерым, громко хохотала, откидываясь головой на спинку малинового бархатного дивана, и была

своих собеседников веером по рукам и губам...

Сумилов не привык к вину, и теперь два бокала, выпитые им, приятно кинулись ему в голову. Он сидел в углу и, заслоняясь ладонью от света канделябра, неотступно глядел на Дюкруа восхищенными глазами. Внутренне он удивлялся смелости своих товарищей, так развязно болтавших с знаменитой певицей... Эта свирепость одновременно возбуждала в нем и зависть, и какое-то ревнивое чувство.

Сумилов был очень скромн, даже более – застенчив по своей нежной натуре и по воспитанию, которое он получил в хорошей патриархальной семье. Близкие товарищи называли его барышней. И действительно, в нем было много девственной, наивной, свежей непосредственности мысли и чувства.

– Кто этот господин, что сидит в углу точно мышь? – спросила вдруг Дюкруа, указывая на Алексея. Бибер тотчас же ответил:

– Это один из наших студентов. Его фамилия – Сумилов.

– Он, должно быть, поэт, этот господин? Послушайте, господин поэт, подойдите сюда! – крикнула певица.

Сумилов подошел и неловко остановился против нее, чувствуя, что горячая краска заливает его лицо.

– Ах, боже мой! Да ваш поэт прехорошенький, – засмеялась Дюкруа. – У него вид свеженькой пансионерки... Глядите, глядите, он даже краснеет. Ах, как это мило!

Она действительно с удовольствием глядела на Сумилова,

на его стройную, юношески гибкую и худощавую фигуру, на его разрумьянившееся, нежное и красивое лицо, все покрытое легким пушком, на белокурые мягкие волосы, падающие непослушными прядями на лоб. И вдруг, схватив быстрым, грациозным движением руку Сумилова, Дюкруа заставила его сесть рядом с собою на диван.

– Отчего это вы не хотели подойти ко мне? Вы слишком горды, молодой человек. Неужели женщина должна делать к вам первый шаг!

Алексей молчал. Кто-то из студентов, никогда не видевший Сумилова в своей компании, вставил с наглой усмешкой:

– Madame, наш коллега не понимает по-французски ни слова.

Это замечание подействовало на Алексея, как удар хлыста. Он резко повернулся к говорящему и, глядя на него в упор, отчеканил также по-французски, но с тою изысканностью языка, которая некогда составляла преимущество русской знати и которая еще уцелела кое-где в хороших фамилиях:

– Вы совершенно напрасно, милостивый государь, берете на себя труд объясняться за меня, тем более что даже не имею чести быть с вами знакомым. Когда он это говорил, его брови гневно сдвинулись и большие голубые глаза с длинными стрелами ресниц потемнели.

– Браво, браво, молодой поэт! – засмеялась Дюкруа, не

выпуская из своих рук руки Алексея... – Как вас зовут, мой поэт?

Сумилов, вспышка которого уже улеглась, опять сконфузился и опять покраснел:

– Алексей.

– Как? Как? Але...?

Сумилов повторил.

– Ах, это все равно что Алексис! Ну так вот, monsieur Алексис, в наказание за то, что вы не хотели ко мне подойти, вы должны меня будете проводить до дома. Я хочу пройтись немного пешком, а то боюсь завтра встать с головною болью.

Карета остановилась у подъезда первойклассной гостиницы. Сумилов помог певице выйти из экипажа и стал прощаться.

Она взглянула на него исподлобья лукавым и нежным взглядом и спросила:

– Разве вы не зайдете посмотреть мою берлогу?

– Madame... я очень счастлив... – залепетал смущенно Алексей, – но я боюсь... так поздно...

– Идем! – скомандовала Дюкруа. – Я вас хочу окончательно наказать...

Пока она переодевалась в будуаре, Сумилов осматривался кругом. Он заметил, что певица сумела придать шаблонно-пышной обстановке дорогого номера то кокетливое изящество, на которое способна только парижанка. Всюду были ковры, цветы, веера, дорогие безделушки, мебель, более

удобная для лежания, чем для сидения... Воздух благоухал тонкими духами, пудрой и запахом красивой женщины. Этот запах Сумилов слышал еще в то время, когда сидел в карете, прикасаясь плечом к плечу певицы.

Дюкруа вышла в просторном белом, затканном золотом, пеньюаре. Заметив горничную, неслышно и ловко приготовившую на мраморном столике чай, она сказала:

– Идите спать, я больше не имею надобности в вас. Горничная – некрасивая, подвижная, как обезьяна, парижанка – вышла, скользнув по Сумилову проницательно-насмешливым взглядом. Дюкруа уселась с ногами на низкий и широкий турецкий диван, расправляя около ног складки своего белого платья, и повелительным жестом указала Алексею на место рядом с собою. Сумилов повиновался.

– Ближе, ближе! – приказала Дюкруа. – Еще ближе!.. Вот так... Ну, теперь давайте разговаривать, monsieur Алексис. Во-первых, где вы научились так хорошо владеть французским языком? Вы выражаетесь, точно маркиз.

Сумилов рассказал ей, что у него с самого раннего детства были гувернантки-француженки и что этот язык принят почти исключительно в его семье.

– О, значит, вы из богатого семейства?! – воскликнула Дюкруа.

– Нет, мы лет пять тому назад разорились.

– Ах, бедненький! Значит, вы живете своими трудами? Вам, должно быть, это очень тяжело? У вас есть друзья? Вы,

вероятно, редко бываете в обществе?

И она засыпала его целой кучей вопросов, на которые он едва успевал отвечать. Потом вдруг, совершенно неожиданно, она спросила низким и протяжным голосом:

– Скажите, вы любили когда-нибудь женщину? Он посмотрел на нее, полу смеясь, полуудивленно.

– Да, любил... Когда мне было четырнадцать лет, я был влюблен в свою кузину...

– И только?

– Да.

– Честное слово?

– Честное слово.

– И вы никогда не любили женщину совсем? Он понял и, нервно теребя бахрому скатерти, прошептал:

– Нет... Никогда.

– А я? – тем же замирающим шепотом спросила Дюкруа, наклоняясь к нему так близко, что он почувствовал теплоту ее лица. – А я нравлюсь вам? Нравлюсь? Да глядите же в глаза, когда вас спрашивают!

Она схватила его голову руками и повернула к себе... Ее горячие и жуткие глаза сначала испугали Сумилова, потом смутили, а потом вдруг и в его глазах зажгли такой же огонь.

Она опустила ресницы и со вздохом притянула голову Сумилова еще ближе к себе. Губы ее пылали и были влажны.

– Дома госпожа Дюкруа?..

– Нету дома.

– Может быть, вы не заметили? Может быть, она уже вернулась?

Толстый ливрейный швейцар с красной, опухшей и заспанной мордой почесал спину о косяк двери.

– Как же это я, например, не видал, ежели я к тому обязан, чтобы смотреть? Да что вы хлопчете? Вот уже, почитай, вторую неделю каждый день бегаете... Коли сказано нет, так, стало быть, и нет... Чего же тут еще? Не хочет вас видеть, и дело с концом...

Сумилов торопливо вытащил из кармана кошелек. При виде рублевой бумажки швейцар перестал чесать спину и произнес снисходительно:

– Попробуйте... подымитесь наверх. Может быть, и есть...

Сумилов быстро взбежал по лестнице, шагая через две ступеньки. Но перед дверью номера он остановился и схватился инстинктивно за то место груди, где так судорожно и мучительно колотилось сердце. При этом его рука ощутила прикосновение лежащего в боковом кармане небольшого револьвера.

Сумилов постучался. «Entrez», – послышалось из-за двери. Закрыв на секунду глаза от смутного предчувствия какого-то ужаса, Алексей толкнул ручку.

Сегодняшний день он считал решительным, потому что терпеть дольше эти мучения неудовлетворенной любви и ревности становилось невозможным.

Когда наутро после первого вечера Алексей пришел к Дюкруза, весь еще полный счастья, она встретила его с холодным удивлением. На другой день ее не было дома, на третий – то же самое... Камеристка с наглым видом захлопывала дверь перед самым его носом. Он стал писать письма, но на первое не получил ответа, а прочие возвращались ему нераспечатанными.

Алексей страдал невыносимо. Он исхудал, осунулся и пожелтел. И днем и ночью его преследовал образ прекрасной парижанки; везде ему рисовалась ее бархатная кожа, ее поцелуи.

Дюкруза была не одна. Рядом с ней на диване, так хорошо знакомом Алексею, сидел какой-то толстый господин, судя по лицу, грек или армянин, с масляными черными глазами, горбатым носом и густыми черными усами.

Увидев вошедшего Сумилова, Генриетта быстро поднялась и с гневным видом сделала несколько шагов ему навстречу, не протягивая руки.

– Что вас заставляет преследовать меня всюду, милостивый государь? – спросила она, вызываяще щуя глаза.

Кровь кинулась в голову Алексею. Все потемнело перед его глазами. Он резко схватил Дюкруза за руку выше кисти и прошептал с искривленными губами:

– Мне надо говорить с вами... наедине... два слова. В его голосе и в выражении лица чувствовалась такая страшная настойчивость, что Генриетта невольно повиновалась.

– Хорошо, идите за мной, – сказала она, направляясь в свой будуар. – Но помните, что это последнее объяснение.

В полутемном будуаре он опять схватил ее за руки, но она быстро вырвалась от него.

– Я вас безумно люблю! – воскликнул Алексей. – Пощадите меня!

– Это все, что вы хотели мне сказать?

– Да... впрочем, нет... не все... Я сам не знаю, что говорю. Я не сплю по ночам... Зачем, зачем вы все это сделали?

Она расхохоталась наглым, искусственным смехом опытной актрисы.

– Вот как! Вы пришли упрекать меня...

Из гостиной послышался сдержанный кашель.

– Кто это? – спросил грубо Алексей.

– Разве я вам должна давать отчет в моих знакомствах? – ответила Дюкруа, пожимая презрительно плечами.

Сумилов вдруг почувствовал в душе прилив бешенства.

– Отвечайте мне: кто этот господин? Это ваш любовник? Говорите сейчас...

– А! Вы непременно хотите знать? – Генриетта приблизилась к нему свое лицо, искаженное злобой, и трясущимися бледными губами произнесла:

– Да, это мой любовник...

Послышался выстрел, потом отчаянный женский крик, потом другой выстрел, потом испуганный вопль из соседней комнаты... Отовсюду из номеров сбежались люди... Генри-

етта еще была жива и, лежа на полу в луже крови, протяжно и тихо стонала. Сумилов лежал рядом с ней, ничком, касаясь окровавленной головой ее платья. Правая рука его была подвернута под тело, а плечо левой судорожно вздрагивало, как крыло подстреленной птицы...

1897